

В. КУЛЯБКО.

ДНЕВНИК 1941–1942 гг.

Среди драматических свидетельств ленинградской трагедии блокадный дневник В. Кулябко занимает особое место. В целом он лишен литературности и риторических «украшательств» и даже ужасающие подробности голодного быта зимы 1941–1942 гг. здесь заметно смягчены. Все в нем обычно – слова, интерес к деталям, повествование о службе, передача слухов. В нем почти все передано «внешне» – нет придиричьего исследования поступков и психологии людей. Есть лишь спокойная инвентаризация их действий – но как раз именно эта «обыкновенность» намного ярче и образнее рассказывает нам о повседневности блокады: она не заглушена громким голосом и не отделена от читателя ложновеличавым пафосом.

Это записи пожилого человека, инженера-интеллигента, умудренного жизнью, спокойного и рассудительного. Изначально им был присущ дух некоей снисходительности к людям, охваченным пессимизмом, со страхом ожидающим скорого конца. В роли человека, успокаивающего испуганных близких, соседей, знакомых и даже незнакомых людей, он чувствует себя в первые месяцы блокады вполне естественно и этой ролью гордится. Это нечто, что придает ему ценность в собственных глазах и потому является одной из доминант первых двух дневниковых записей. «Спокойствия не потерял нисколько», – записывает он во время бомбежки 9 сентября 1941 г.⁴⁶¹ Другие так себя не ведут. Он это внимательно подмечает и о принимавшем его враче Сергеевой пишет: «Она очень пессимистически настроена».⁴⁶² Ее следует утешить, обнадежить – он к этому готов: «Много и убедительно наговорил ей разных хороших перспектив и, по-видимому, переломил ее настроение. Ушла успокоенная, на прощание крепко пожала мне руку и поблагодарила».⁴⁶³

⁴⁶¹ Нева. 2004. № 1. С. 212.

⁴⁶² Там же.

⁴⁶³ Там же.

«Что же, лучше людей подбадривать, чем усиливать пессимизм»,⁴⁶⁴ – такими словами он заканчивает этот эпизод и еще раз перечисляет тех людей, которых он подбадривал. Это соседка Шура («бедная, вчера ночью растерялась совсем»⁴⁶⁵), это его испуганная знакомая Вера. Он не склонен преувеличивать свою роль «оптимиста» и говорит о ней сдержанно («серьезно и спокойно дал ей ряд советов», «спросила, не боюсь ли я один быть в квартире, на что с улыбкой я ей ответил, что уж в этом ничего страшного нет»⁴⁶⁶), а порой и не без оттенка иронии («тоже выполз и кое-как ее успокоил»⁴⁶⁷). Он не раз перечисляет на страницах своего дневника те приемы и даже уловки, к которым он прибегает, чтобы укрепить колеблющихся и поддержать отчаявшихся. Рассказ об «увещеваниях» на какое-то время оказывается одной из основных скреп дневника. Автор и сам подчиняет себя усвоенной им роли, акцентируя внимание именно на ободрении слабых и потерявших устойчивость людей и (как и положено в подобных случаях) не слишком драматизируя происходящее вокруг. При таком подходе симптомы приближающейся беспримерной трагедии выявлены им не очень отчетливо. Ощущение себя как человека стойкого, умеющего не сосредотачиваться на мелких трудностях и не поддаваться «хныканью», не позволяет ему сколько-нибудь скрупулезно отмечать обозначившиеся надломы городской жизни – социальные, бытовые и поведенческие. Едва коснувшись их, он сразу же себя поправляет, словно извиняясь за проявленную слабость.

Заметим, однако, что в его обращениях к людям нет ничего «официозного», фальшивого, искусственного, несмотря на близкий к «официозности» язык его «наставлений в вере». В его сочувствии нет и ничего назойливого. Он утешает тех, кого нельзя не утешить, тех, кто приходит к нему за помощью, тех, кто плачет, не стесняясь своих слез, кто прямо просит у него совета. Порой ему и самому трудно успокоить других – но не остановим поток тех, кто жаждет услышать хоть чье-то слово, в котором бы звучала надежда. Он пишет о женщине, которая беспокоилась о судьбе мужа, ушедшего на фронт, ее детей, эвакуированных далеко в тыл вместе со своей школой:

⁴⁶⁴ Там же.

⁴⁶⁵ Там же.

⁴⁶⁶ Там же.

⁴⁶⁷ Там же.

«Она плакала... Я ее все успокаивал, убеждал, что все будет хорошо — что же я ей еще мог сказать».⁴⁶⁸

На фоне той заботы о людях, чуткости к их горю, которые присущи В. Кулябко, естественным кажется и внимание, которое он уделяет действиям тех людей, кто, в свою очередь, пытается помочь и ему самому. Оценки их поступков, выражение радости и благодарности им являются куда менее сдержанными, чем оценки его собственных поступков: «Какой милый ДК (друг В. Кулябко Дмитрий Константинович. — С. Я.). Звонит мне на службу, чтобы узнать, как я перенес бомбежку... Очень тронуло меня его внимание».⁴⁶⁹ «Добрый она человек»,⁴⁷⁰ — пишет он о соседке Шуре, которая в сентябре 1941 г. буквально «заставила взять» хлеб и рис.

Какая-то особая деликатность присуща ему и в отношениях с родными. В письмах из Ленинграда он стесняется говорить всю правду о своих страданиях, не желая никого огорчить: «Зачем расстраивать их: ведь ни помочь, ни облегчить что-либо они не в силах, ну значит, нечего и писать».⁴⁷¹ Сына же своего он наставлял в письмах как «отдаленно, в случае чего, подготовить маму в отношении возможности всяких случайностей со мной», чтобы это не стало для нее неожиданностью.⁴⁷²

В нем постоянно проявляется и какая-то твердость нравственных вердиктов. Ему свойственны неприязнь к любым нарушениям справедливости и равенства, он порицает безразличие к судьбам людей, постигшему их горю. Он так комментирует отказ отпустить по карточкам белый хлеб: «...Нельзя было продавать по коммерческим ценам, раз нет подвоза. Окраска этого коммерчества — дрянная. Кто имеет деньги — кушайте белый, а кто с ограниченными возможностями — может лопать черный. То же деление на имущих и неимущих. Это можно было допустить как средство выкачивания денег лишь тогда, когда имеется полная обеспеченность снабжения белым хлебом и тех, и других».⁴⁷³ Нескрываемое презрение к «имущим» сказывается и в тех случаях, когда он размышляет

⁴⁶⁸ Там же. С. 217.

⁴⁶⁹ Там же. С. 213.

⁴⁷⁰ Там же. С. 218.

⁴⁷¹ Там же. С. 216.

⁴⁷² Там же. С. 219.

⁴⁷³ Там же. С. 214.

о горожанах, которым удастся «удрать в последний момент» — их он называет «привилегированными».⁴⁷⁴

Таковы основные характеристики этого человека, какими они проявляются в его дневниковых записях сентября–октября 1941 г.: честность, скромность, непритязательность, готовность помочь словом и делом, доброжелательность, сострадание. Впереди — великая трагедия зимы и весны 1941–1942 гг., когда рушилось в человеке человеческое, когда невероятные страдания, полностью передать которые не в состоянии ни один очевидец, превращали самых стойких в слабых, порой утративших человеческий облик. Дневник В. Кулябко — это свидетельство о том, как человек выстоял, как не растерял присущие ему нравственные ценности, как сопротивлялся он тому, что является обязательной приметой всех социальных катастроф — эгоизму, черствости, жестокости. И ему не удалось избежать потерь — чтобы выжить, нельзя было оставаться таким щедрым, как прежде. Он порой вынужден был не замечать того, мимо чего не прошел бы в другое время, принимать помощь тех, кто и сам нуждался. Но он не уступил в главном. Каждый поступок (и свой и чужой) оценивается по высшему нравственному счету — и даже там, где, казалось, нет возможности говорить о цивилизованных нормах.

Он старается оставаться оптимистом, но со свойственной ему честностью все чаще отмечает и то, что «бодрыми» кликаниями пытаются скрыть правду. Когда он хочет ободрить отчаявшихся людей, стоящих на краю пропасти, — это одно. Бравурные марши тех, кто стремится скрыть свою вину за разразившуюся в стране катастрофу, — это другое. Это даже не «ложь во спасение», а аморальный поступок — в дневнике эта мысль проведена последовательно четко.

«Говорят... что движутся к нам свежие войска... Слухи о каком-то сильном наступлении в районе Новгорода, которое дало бы возможность окружения сил немцев и заставило бы их отойти от Ленинграда. И прочее, прочее, прочее... Где правда, где самообман — не разберешь. А в “граммофоне” одно жужжат: “не отдадим”, “не допустим” и прочие фразы»,⁴⁷⁵ — записывает он в дневнике еще 17 сентября 1941 г. Многое в этой браваде кажется ему театральным, наигранным. Он не щадит в

⁴⁷⁴ Там же. С. 218.

⁴⁷⁵ Там же. С. 219.

своих записях даже Д. Шостаковича, считавшего, что, работая над симфонией, он тоже стоит на боевом посту: «Если бы слова и симфонии стреляли, то от немцев давно бы только мокрое место осталось».⁴⁷⁶ В записи, сделанной на следующий день, он задает себе вопрос: «Где же конец будет немецкому выступлению?» и заканчивает ее так: «А по радио все говорят, говорят, говорят...».⁴⁷⁷ В торжественности заклинаний есть фальшь и потому, что не подкрепляются они мелкими, будничными, неброскими делами по облегчению страданий людей, попавших в беду. Бомбоубежища плохи — в этом он убедился лично: «До ужаса сделано безграмотно и исключительно небрежно».⁴⁷⁸ Это — гробы, как считает он, и примечательна его ремарка о том, что нельзя «так относиться к людям в такое тяжелое время»⁴⁷⁹ — понятия честности, порядочности и сострадания оказываются выдвинутыми здесь на первый план.

Сочувственные записи о лишениях других людей не исчезают из его дневника и тогда, когда ему самому приходится голодать, делить крохотный паек на несколько частей. В записи 12 ноября 1941 г. он передает рассказ о пострадавших от обстрелов, «вид которых ужасен», и отмечает, что «этот бесцельный, ничем не оправданный ужас производится “культурными” людьми XX века».⁴⁸⁰ «Пока я еще некоторое время смогу держаться..., — записывает он 13 ноября 1941 г. — А дети? Что будет с ними?»⁴⁸¹ И это не одни лишь слова. Он старается, где возможно, не только выразить сочувствие, но и помочь делом: «Сегодня без разрешения начальства велел сделать две “буржуйки”; бойцы мерзнут в окопах, и один красноармеец из нашего института просил срочно для них сделать».⁴⁸² Ему нет дела до того, смогут ли его обвинить в растрате или превышении власти. Он видит только замерзших солдат, которым надо помочь немедленно, здесь же, а не уходить за частокол предписанных ему бюрократических ритуалов: «Разве я могу отказывать и оформлять что-то через начальство — сам распоряжился».⁴⁸³

⁴⁷⁶ Там же.

⁴⁷⁷ Там же. С. 220.

⁴⁷⁸ Там же. № 2. С. 235.

⁴⁷⁹ Там же.

⁴⁸⁰ Там же.

⁴⁸¹ Там же.

⁴⁸² Там же. С. 237–238.

⁴⁸³ Там же. С. 238.

Голод в это время становится повседневной реальностью. В записи 21 декабря 1941 г. он сообщает о том, что никак не реагировал ни на обстрел, ни на авиационный налет: «Какое-то безразличие и бесконечная усталость».⁴⁸⁴ Но на следующий день он записывает в дневнике: «Со службы занес кое-что нашему сотруднику, изголодавшемуся так, что... не встает».⁴⁸⁵ Продукты, правда, были получены по карточкам этого сотрудника — но ведь и принести их Кулябко, у которого «устают ноги чуть ли не после первого шага»,⁴⁸⁶ тоже стоило немало труда. Когда-то этот сотрудник помог ему самому во время болезни — но этому человеку Кулябко стремится оказать помощь большую, чем получил сам: «Завтра буду говорить с директором... устроить его в какую-нибудь больницу».⁴⁸⁷ И еще и еще раз он записывает все мельчайшие подробности в тех случаях, когда сослуживцы пытаются поддержать его самого. Когда он совершенно обессилел и лег в институте на диван, один из них предложил валерьянку (считавшуюся в то время не только лекарством, но и питательным продуктом), директор принес ему чашку не суррогатного кофе. Тут же Кулябко сообщает, что ему разрешили не работать, даже если врач не выдаст «бюллетень».⁴⁸⁸

Эти маленькие подарки, конечно, не могли ощутимо смягчить последствия голода. Но та тщательность, с которой он фиксирует проявления заботы о нем, возможно, помогла сохранить устойчивость нравственного стержня, необходимого в то время, когда все в человеке ломалось. Чем страшнее становится голод, тем подробнее приводятся Кулябко списки благодеяний, больших и малых. В начале дневника он подчеркивает, что пишет скорее не для себя, а для своих потомков. Тем необходимее, видимо, являются для него такие записи тогда, когда он ничем другим не может отблагодарить людей, помогавших ему. Он не только скрупулезно переписывает их добрые поступки, но еще и подчеркивает их ценность. Перед Новым годом один из сотрудников послал ему 300 г сыра — «За завтраком тонкими ломтями кладу поверх дрожжей».⁴⁸⁹ Другой сотрудник отдал ему «пузырек с рыбьим жиром и немного витамина из хвои» —

⁴⁸⁴ Там же. С. 241.

⁴⁸⁵ Там же.

⁴⁸⁶ Запись в дневнике 18 декабря 1941 г. (Там же).

⁴⁸⁷ Там же.

⁴⁸⁸ Там же. С. 242.

⁴⁸⁹ Там же. С. 243.

«все это очень хорошо, чтобы приостановить мое истощение».⁴⁹⁰ Директор не только прислал ему дрожжей, но и сообщил (и устно, и особой запиской): «Отдыхайте еще месяца 2-3, набирайтесь сил и потом возвращайтесь работать. Содержание вам будет выписано полностью».⁴⁹¹ И тут обычно немногословного Кулябко словно прорвало. Он пишет, что обязательно сохранит эту записку, и не только ее: «Я никогда не забуду его слов, его внимания ко мне, которое трогает до глубины...».⁴⁹² На фоне спокойных, даже монотонных записей, свойственных его дневнику, это кажется даже криком.

Он, однако, ни у кого и ничего не просит для себя — даже старается преуменьшать драматизм своего положения: «Кожа трескается... обычное явление, пальцы онемевшие — трудно работать, руки опухшие, хотя и не очень сильно».⁴⁹³ В каждом предложении в этой записи 17 декабря 1941 г. обязательно присутствует явная или неявная оговорка, «смягчающая» ужас декабрьских блокадных дней. Нарочитой «глянцевой» бодрости у него нет. Он хорошо понимает свое положение. «Все медленно делается, — медленные шаги, медленные движения, постоянные присаживания»⁴⁹⁴ — но нет у него ни истерики, ни апокалипсических ноток. Все, от мытья головы до уборки комнаты, продельвается пусть и медленно и с напряжением, но основательно и спокойно — и при этом не утрачивается чувство достоинства. Он надеется только на себя и не очень охотно берет у других. Надо лишь «дотянуть» до января, экономно расходовать продукты, нередко отказывать себе в самом необходимом. Январь становится для него символом чего-то светлого, «до января 42 года я как-нибудь дотяну», «вынужден был тронуть ранее неприкосновенный запас — шоколад и сухари, которых у меня крайне мало, но надо идти на риск в расчете на улучшение в январе».⁴⁹⁵ Он еще не знал, символом чего станет для сотен тысяч ленинградцев январь 1942 г.

В январе 1942 г. он сделал всего несколько записей в дневнике, но они красноречивее целых страниц: «В комнате 3,5 градуса... во дворе сплошная клоака... с хлебом совсем

⁴⁹⁰ Там же.

⁴⁹¹ Там же.

⁴⁹² Там же.

⁴⁹³ Там же. С. 241.

⁴⁹⁴ Там же. С. 240.

⁴⁹⁵ Там же. С. 243.

плохо... в магазине пусто... сегодня хлеба не получил... Радио не работает во всем нашем и соседнем районе... словом, все разваливается... руки и ноги по-прежнему отекающие». ⁴⁹⁶ В такой ситуации мало кто мог думать о других — Кулябко же находит в себе силы записывать в дневнике: «А сколько здесь людей, положение которых еще тяжелее моего». ⁴⁹⁷ Прося об эвакуации, он не расталкивает локтями других, не требует, не угрожает. Заявление об эвакуации, как он пишет, «подано на всякий случай», ⁴⁹⁸ а содержание и мотивация его просты и кратки: «Продукты на исходе, а повторная голодовка грозит мне быстрым смертельным исходом». ⁴⁹⁹ Он и не очень надеется на успех — «просили наведываться 5 февраля, ну, думаю, это слабо, придется еще поголодать порядочно и хватит ли тогда у меня сил ехать» ⁵⁰⁰ — но спасение пришло. И, узнав о разрешении эвакуироваться, он пишет не только о хлебе, о преодолении смерти, о конце страданий — он говорит и о «тепле, где я буду окружен заботой и вниманием». ⁵⁰¹

Эвакуация, однако, не стала для него концом испытаний. Как ни парадоксально, но здесь он в большей степени, нежели в блокадном городе, столкнулся с человеческой черствостью и жестокостью. В «свой» вагон ему попасть не удалось — как оказалось, он был «забит... всякими “деятелями”, по преимуществу — определенного типа». Втиснуться в другой вагон он смог «после большой перебранки», и то с трудом, «частью с просьбами, частью с руганью». ⁵⁰²

Эта «ругань», которой и следа нет при описании блокадного быта, не стала здесь для него единственным нравственным испытанием. Пришлось и давать взятку офицеру при переезде через Ладогу — другой возможности сесть в машину, перевозившую больных, у голодного умиравшего старика не было. Кулябко — не мастер слова, но несмотря на скудость языковых средств, омерзительная сцена, в которой тыловики обирают падающих от истощения блокадников, передана удивительно пластично, с массой мельчайших деталей. Его слух, зрение, вни-

⁴⁹⁶ Там же.

⁴⁹⁷ Там же. 2004. № 3. С. 262.

⁴⁹⁸ Там же.

⁴⁹⁹ Там же.

⁵⁰⁰ Там же.

⁵⁰¹ Там же.

⁵⁰² Там же. С. 263.

мание обострены здесь предельно. Его возмущение усиливается еще и потому, что жертвой мародеров в погонах стал не только он сам, но и другие ленинградцы, нуждавшиеся в сострадании и помощи: «И такой человек, ведающий таким большим, ответственным, связанным с жизнью людей делом, морит сутками больных, стариков, женщин, детей только потому, что им нечем дать взятку».⁵⁰³

Много грубостей и унижений пришлось ему перенести и по пути к Череповцу, где он надеялся встретить сына. И снова его не хотели пускать в вагон, на сей раз студенты-железнодорожники, которые глумились над ним, не давали ему подойти к печке, не помогали ему сойти во время остановок поезда и даже обворовали его. Сдержанный, воспитанный человек, В. Кулябко мало рассказывает о тех оскорблениях, которым его подвергали в поезде, но о них можно догадываться по тому, как более жесткими и сильными становились эпитеты, которыми награждал он своих спутников: «бессердечное молодое зверье», «бандиты-попутчики». Увидев, как они выкинули прямо на снег труп своего умершего товарища, который отказались принять на станции, Кулябко не мог не отметить прежде всего этический смысл этого эпизода: «Человечность у них погребена где-то очень глубоко, если она у них вообще есть».⁵⁰⁴ И здесь не обошлось без нравственных издержек. Вагон не был оборудован, и Кулябко заставили вместе с другими ломать «чужой» сарай на дрова. Труднее всего при этом, как он отмечает, ему было не физически, а «морально»: «Не привык я разламывать чужое жильё, хоть и брошенное в период хозяйничанья там немцев».⁵⁰⁵

Зато с какой теплотой он описывает каждого доброго человека, который пожалел его или чем-то помог ему. «Как радостно мне было встретить человека... по-человечески отнесшегося к страдающему больному старику»,⁵⁰⁶ – пишет он о красноармейце, который помог ему снять валенки с распухших ног, а затем и донести вещи. И особенно потрясло Кулябко, когда другой красноармеец не только помог ему, но и дал сухарь, увидев, что он голоден: «Так меня это растрогало, что слезы на глазах выступили, так сильна была реакция после пятидневного путеше-

⁵⁰³ Там же. С. 264.

⁵⁰⁴ Там же. С. 266.

⁵⁰⁵ Там же. С. 265.

⁵⁰⁶ Там же. С. 266.

ствия в компании жестоких бессердечных скотов».⁵⁰⁷

Нравственные нормы ленинградцев во время блокады отражены в сотнях дневников, писем, воспоминаний очевидцев тех лет. Отражены с разной степенью откровенности и это неизбежно — требуется особый такт в рассказах о людях, доведенных до отчаяния в страшные блокадные дни. Дневник В. Кулябко не может претендовать на полноту описания пространства трагедии. Возраст, замкнутость и одиночество его автора не позволили ему увидеть многие из тех реалий, которые для миллионов горожан остались символами блокадной зимы. Дневник ценен другим. Он показывает, как человек, стремящийся строго придерживаться нравственных правил, сохраняет их в обстоятельствах, где выживание стало главной целью жизни. Он показывает нам, как не ломались устои человечности в тех нечеловеческих условиях, когда они должны были сломаться.

Разумеется, полностью выжить без нравственных потерь мало кому удавалось. Важнейшим представляется, однако, существование самого морального счета, по которому В. Кулябко ежедневно оценивал свои и чужие поступки. Кража, привычная для практики выживания, для него является однозначно грехом. Слабых нельзя обижать, нельзя обирать падающих от истощения женщин, стариков и детей, голодному человеку нужно помочь, отчаявшегося человека надо успокоить, надо хоть чем-то отблагодарить того, кто поделился куском хлеба — так, только так и никак иначе. Для человека, стремящегося придерживаться в своих поступках твердого нравственного канона, естественна особая обостренность взгляда там, где этот канон попирается. Здесь он не щадит не только других, но и себя, честно рассказывая, когда и при каких обстоятельствах он должен был давать взятку или брать чужие дрова. И мы видим, что делалось это на краю пропасти, и несоизмеримы пачка табака, которую он отдал за право ехать в закрытой машине, и человеческая жизнь. Но он не упускает ничего и при каждой встрече с другим человеком обычно прежде всего отмечает в нем привлекательные или отвратительные нравственные характеристики и в первую очередь оценивает только их. Его дневник, поэтому, можно считать своеобразной энциклопедией моральных эталонов того времени,

⁵⁰⁷ Там же. С. 267.

и стоит только пожалеть, что в силу ряда условий угол зрения автора был существенно ограничен. Но и будучи отражением прежде всего индивидуального опыта, дневник В. Кулябко во многом близок и другим свидетельствам об этике ленинградцев в 1941–1942 гг. Так в малом отразилось большое, в единичном — общее, в частном — то, что стало элементом коллективного опыта.